



Г. В. ПЛЕХАНОВ

История русской общественной мысли

<Фрагмент>

Глава XXIII

Европеизация России. — Узкие пределы европеизации под непосредственным влиянием Петровской реформы

Мы знаем, что сближение общественно-политического строя северо-восточной Руси со строем восточных деспотий объясняется в последнем счете обстоятельствами, замедлившими рост ее производительных сил и тем самым причинившими «инертность» ее хозяйства. Но эта страна, так похожая по своему быту на азиатские страны, должна была отстаивать свое существование не только от нападения со стороны азиатов. На западе она граничила с Европой, и уже с XVI в. каждое враждебное столкновение с европейскими странами давало ей болезненно почувствовать превосходство европейской цивилизации. Волей-неволей надо было подумать о том, чтобы кое-чему поучиться у Европы. При этом, как мы уже видели, начато было с того, в чем чувствовалась наиболее острая нужда: с усвоения западноевропейского военного искусства. К концу XVII в. полки иноземного строя значительно превосходили своею численностью поместную дворянскую конницу. Правда, первоначально войско иноземного строя было немногим лучше дворянских ополчений. Но и тогда уже становилось ясно, что для преобразования армии нужно много денег, а для того, чтобы иметь деньги, нужно заимствовать у тех же западных еретиков, у «латинцев» и у «люторы», их умение пользоваться природными богатствами своей страны. Уже при Алексее Михайловиче принимается ряд мер для умножения производительных сил страны. Но меры эти были слишком недостаточны для того, чтобы иметь сколько-нибудь серьезное влияние на развитие народного хозяйства. Что же касается понятий и привычек населения, то при Алексее Михайловиче европеизация распространилась только на горсть отдельных лиц, да и к ним почти целиком применимо то замечание, которое В. О. Ключевский делает о Ртищеве

и Ордине-Нащокине: «западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охрану ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководством, от рутины, которая их мертвила». Интересно, что воспитанный иностранными учителями сын Ордина-Нащокина, Воин, не ужился в тогдашней Москве, где стошнило ему окончательно, и бежал за границу, сначала к польскому королю, а потом во Францию. И хотя при Федоре Алексеевиче и царевне Софье уже стали при царском дворе заводить «политеесь съ манеру польскаго», но действительная европеизация России начинается только с Петра. Вот почему вопрос о значении петровской реформы и сделался у нас коренным вопросом публицистики. Он был равнозначителен вопросу о том, в каком направлении должна развиваться Россия: в сторону Запада или же в сторону Востока.

Петру приписывают слова: «нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Трудно решить, в самом ли деле он произнес их. Вернее, что — нет. И все-таки они имеют глубокий исторический смысл. Как ни сильно увлекала Петра западноевропейская цивилизация, в своей преобразовательной деятельности он был и мог быть западником только отчасти. Этим и объясняется тот разрыв между верхним, более или менее глубоко европеизованным классом, с одной стороны, и народом — с другой, который был результатом петровской реформы и который так горько оплакивали впоследствии славянофилы.

Если главной отличительной чертой, сближавшей русский быт с бытом восточных деспотий, являлось полное закрепощение всех классов народа государству, то совершенно неоспоримо, что реформа Петра не могла да и не имела в виду европеизовать крестьянство. Напротив. Петербургский период довел, как мы уже видели, закрепощение крестьянина государству и землевладельцам до его крайних логических выводов. В длинный промежуток времени от Петра до генерала Киселева положение русского крестьянина все более и более приближалось к положению нисшего, поработленного класса восточных деспотий. Подневольный крестьянский труд на пользу помещиков и государства делался все более и более тяжелым. Уже при Петре положение крестьянина ухудшилось весьма значительно. Сравнивая общие цифры податного населения России по переписям 1678 и 1710 гг., г. П. Милоков показал, что за этот период времени население это не возросло, как этого следовало бы ожидать, а уменьшилось на одну пятую часть. «Но не-

обходимо помнить, — прибавляет названный историк, — что этот результат есть уже, так сказать, равнодействующая действительной убыли и того естественного прироста, который должен был несколько прикрыть и замаскировать ее». Такою страшною ценою заплатило податное население России за петровскую реформу! Г. Милюков не без наивности замечает, что, «за исключением мер, принятых в последние годы под влиянием идей меркантилизма в пользу городского класса, Петр не был социальным реформатором». С этим очень легко согласиться: какая уж там социальная реформа! Социальная реформа имеет в виду облегчить положение низшего класса, а Петру было совсем не до того. Его экономическая политика по отношению к трудящимся осталась верной заветам Московского государства, ни о какой «социальной реформе» никогда не помышлявшего. Но если Москва была податное население бичами, то Петербург, в лице Петра, стал бить его скорпионами. Неудивительно, что уже в 1700 г. в народе стала распространяться легенда о том, что наступили последние времена и что в лице Петра воцарился антихрист. Короче, с этой стороны ни о какой европеизации говорить невозможно.

Надо еще прибавить, что ко времени Петровской реформы в передовых странах европейского Запада быстро исчезали последние остатки крепостного права. Таким образом, мы имеем здесь перед собою как бы два процесса, параллельных один другому, но направленных в обратные стороны: закрепощение крестьян доходит у нас до апогея в тот самый период времени, когда оно исчезает на Западе. Этим еще более увеличивается разница положения русского крестьянина с положением западного.

Не то увидим мы, обратившись к дворянству. Если сам Петр ничего не предпринял для его освобождения от обязательной службы, то совершенное им преобразование армии дало дворянству возможность добиться сравнения поместий с вотчинами и тем положить экономическую основу своей «вольности». В последующие царствования дворянство, отчасти благодаря тому же преобразованию армии, приобрело «вольность» в той ее полноте, какая была нужна для него при данных условиях. По мере того, как оно приближалось к «вольности», его роль в государстве переставала быть похожей на роль служилого класса в восточных деспотиях и более или менее уподоблялась роли высшего сословия в абсолютных монархиях Запада. Следовательно, социальное положение «благородного» сословия изменилось в одну сторону, — в сторону Запада, — в то самое время, когда социальное положение «подлых людей» продолжало изменяться в сторону противоположную, — в сторону Востока. Перед нами здесь опять два параллельных

процесса, и опять эти два процесса идут в прямо противоположные стороны. Вот туда-то и лежит наиболее глубокая общественная причина упомянутого выше разрыва между народом и более или менее просвещенным обществом. Собственно говоря, подобный разрыв существовал и в западных странах, — например, в той же Франции. Можно было бы привести некоторые примеры из жизни энциклопедистов, наглядно показывающие, как трудно было французскому просветителю XVIII в. столкнуться с французским же крестьянином, если только в глазах этого последнего он являлся баринном. Такая трудность взаимного понимания есть неизбежный плод классового или сословного антагонизма. Но нигде она не достигла таких больших размеров, как в России. Сблизив с Западом высшее сословие и отдалив от него низшее, Петровская реформа тем самым увеличила недоверие этого последнего ко всему, тому, что шло к нам из Европы. Недоверие к иностранцу помножалось на недоверие к эксплуататору. Даже тогда, когда осуществление в России данной западно-европейской идеи пошло бы прежде всего на пользу угнетенных сословий, — когда сама эта идея являлась на Западе продуктом освободительной борьбы угнетенных с угнетателями, — русский крестьянин склонен был видеть в ней барский «подвох», если только ее проповедовал человек, одетый в немецкое платье. От этого много страдали передовые люди России. Это была большая беда, но это была еще не самая большая. Самая большая беда была другая.

Когда европеизованные представители русской общественной мысли стали задумываться не только о тяжелом положении низшего класса народа, но также об его прошлой исторической судьбе и о шансах его будущего развития, тогда они, весьма естественно, стали судить об этих важнейших предметах с точки зрения своих, заимствованных у Запада, общественных теорий. Но западные теории возникли на почве западно-европейских общественных отношений. Положение же русского крестьянина, равно как и его историческое прошлое, напоминало собою несравненно более Восток, чем Запад. Поэтому и то, и другое, — и положение, и историческое прошлое, — чрезвычайно трудно поддавалось анализу с точки зрения западных общественных теорий. С точки зрения этих теорий и то, и другое представлялось полным самых неожиданных противоречий. Вот пример. Герцена поражал тот «страшно нелепый факт, что лишение прав большей части населения шло (в России. — Г. П.), увеличиваясь от Бориса Годунова до нашего времени». Подобный факт был бы, пожалуй, в самом деле «нелеп» в истории Италии, Франции, Англии и большинства германских стран. Но, принимая во внимание историю экономического раз-

вития Северо-восточной России в данной исторической обстановке, факт этот у нас представляется вполне естественным и даже неизбежным. Еще труднее было, держась западных общественных теорий, составить себе сколько-нибудь вероятную схему будущего развития России в сторону идеалов передового человечества. Этой трудностью вызван был между прочим тот благородный крик отчаяния, который называется первым «философским письмом» П. Я. Чаадаева. Ею же объясняется появление у нас теорий «самобытного» русского прогресса — от славянофильства до народничества и субъективизма включительно. Наконец, она же вела к тому, что в течение целых десятилетий отворачиваться от «самобытности» можно было только при одном условии: обоими ногами держась на почве исторического идеализма. Несходство нашего общественного «бытия» (особенно в том, что касалось положения и исторической судьбы низшего класса народа) с общественным бытием Запада могло не смущать наших передовых идеологов только в одном случае: если они разделяли то убеждение, что не бытие определяет собою сознание, а сознание определяет бытие. Тому, кто, подобно французским просветителям XVIII в., думал, что *la raison finit toujours par avoir raison* (разум, в конце концов всегда оказывается правым), достаточно было убедиться в разумности того или другого передового учения Запада, чтобы твердо поверить в его будущее торжество. А кто сказал бы себе, что «разумность» разума изменяется в зависимости от общественных условий и что торжество данного вида его «разумности», — данного передового учения, — всегда предполагает определенное сочетание этих условий, в виду нашей тогдашней русской действительности, вынужден был бы признать, что даже и вполне уместные у себя на родине передовые учения Запада «нелепы» в России. Мы увидим, что к этому выводу пришел Белинский в эпоху своего знаменитого «примирения с действительностью». Однако этот вывод был невыносим для передовых русских людей. И мы увидим также, что сам, бесстрашный перед истиной, Белинский мог ужиться с ним только на самое короткое время. Но и Белинскому, чтобы отказаться от него, нужно было перейти на точку зрения субъективного исторического идеализма. Субъективный исторический идеализм благоприятствует развитию социального утопизма. И мы убедимся, что самые передовые и даровитые представители русской общественной мысли в течение целых десятилетий, несмотря на все свои усилия, не могли, в своих социальных программах, выбиться из области утопии.

Разрыв народа с передовой интеллигенцией страшно затруднял его собственную борьбу за свое освобождение и осуждал людей,

стремившихся помочь ему, на жалкую роль «умных ненужностей». Славянофилы говорили, что европеизованное русское «общество» представляло собою как бы европейскую колонию, живущую среди варваров. Это было вполне верно. Но изменить к лучшему тяжелое положение иностранной колонии, заброшенной в среду русских варваров, могло только одно общественное явление: европеизация варваров. Другого средства быть не могло по той простой причине, что, вопреки мнению славянофилов, в общественной жизни Московской Руси не было, — да и не откуда было взять, — таких «начал», которые давали бы ей возможность создать самобытную культуру, способную померяться с культурой европейского Запада. «Начала» общественной жизни Москвы сводились, в последнем счете, к закреплению всех классов населения государству, а закреплению совсем неблагоприятно для роста культуры. Правда, некоторые деспотии Востока, — древний Египет или древняя Халдея, — тоже закрепощавшие государству все народные силы, были более цивилизованы, нежели Московская Русь XVII столетия. Нет основания думать, что к концу XVII в. Московская Русь дошла до последнего предела той цивилизации, которая являлась более или менее самобытным плодом ее собственных «начал». Позволительно предположить, что она в конце-концов почти сравнялась бы с древним Египтом или с древней Халдеей. Но закреплению населения, явившееся в результате медленного развития производительных сил, с своей стороны, задерживает это развитие, чем задерживается и развитие цивилизации. Западная Европа, никогда не знавшая закрепощения в той его полноте, какую мы наблюдаем в государствах Востока и в Московской Руси, выработала у себя несравненно более значительные производительные силы и гораздо более могучую цивилизацию. В сравнении с этой последней, самобытная цивилизация восточных стран оказалась бы слишком слабой. В конце XVII, в XVIII и в XIX столетиях, — не до Р. Х., а после него, — необходимо было усвоить культуру европейского Запада или пойти назад, склониться к упадку и разложению. К счастью для России, процесс усвоения ею цивилизации Западной Европы не мог ограничиться европеизацией ее служилого сословия.

Глава XXIV

Расширение этих пределов вследствие толчка, данного реформой экономическому развитию России

Петр не только упрочил закрепощение крестьянства. Даже его многочисленные и разнообразные технические заимствования у Запада вели не столько к европеизации наших общественных

отношений, сколько к еще более последовательному переустройству их в старомосковском духе. Желая дать толчок развитию производительных сил своей страны, он обратился к тому средству, которое так широко применялось в Московской Руси: к подневольному труду и обязательной службе разных подходящих для данных целей классов населения. Московское государство имело своих служилых ремесленников, т. е. посадских людей, обязанных заниматься тем или другим ремеслом для удовлетворения государственных потребностей. Со времени Петра у нас появились служилые фабриканты и заводчики. В передовых странах Запада распространение фабрично-заводского производства означало распространение системы наемного труда. В России Петр, основывая фабрики и заводы, приписывал к ним окрестных крестьян, чем создавался новый вид крепостного состояния. Эта относительная особенность нашего исторического процесса, — тот факт, что новые, заимствованные у Запада, производства окружены были на нашей почве азиатской обстановкой, вызвана была нашей экономической отсталостью и в свою очередь замедляла дальнейшее экономическое развитие России. Но, кроме того, она затрудняла и европеизацию той части населения, которая занималась новыми производствами. Я уже не говорю о приписанных к фабрикам крестьянам, но и купечество, все-таки бывшее до известной степени привилегированным сословием, в своем образе жизни и в своих понятиях долго и упорно держалось старины. Купцы не доверяли шедшим с Запада новшествам, так как не любили Запада, чувствуя себя слабыми сравнительно со своими западноевропейскими конкурентами, превосходившими их не только по своему богатству, но, — что весьма важно, — и по своему правовому положению. Посошков, вообще говоря, очень одобрявший Петровскую реформу, всегда очень недоброжелательно отзывался об иностранцах. Иногда представишь себе подобного ему «торгового мужика», но рукам и по ногам связанного нашей приказной «волокитей», ведущим дела или соперничающим с иностранными торговцами, то понимаешь, что он не мог не сознавать своей слабости и что сознание этой слабости не могло не вызывать в нем раздражения против заморских гостей. Наибольший запас такого раздражения должен был накопиться у низшего слоя городской буржуазии, у совершенно бесправных «посадских людей», — например, у ремесленников, которых европеизация служилого класса лишала заказчиков, предпочитавших обращаться по возможности к иностранным мастерам. Если богатое купечество долго сохраняло привычки, нашедшие свое бессмертное выражение в комедиях Островского, то низшие слои городской буржуазии представляли

собой благоприятную почву для развития понятий, в последнее время получивших у нас весьма неудачное название «черносотенных». Нерасположение торгово-ремесленного сословия к западным новшествам усиливалось еще и тем, что более или менее европеизованное российское благородное шляхетство пользовалось своим господствующим положением в государстве, конечно, не к выгоде «бородачей». Вполне естественный антагонизм между купечеством и дворянством создал, стало быть, еще одно препятствие для европеизации России. До половины XIX в. новая русская культура имела весьма явственный дворянский отпечаток. Но при всем том процесс европеизации не остановился. Мало-помалу он вышел и непременно должен был выйти за тесные пределы высшего сословия. Новые, заимствованные у Запада, производства развивались, благодаря своей азиатской обстановке, очень медленно, но все-таки развивались. А чем больше развивались они, тем более становилось очевидным, что азиатская обстановка должна быть устранена. Как ни трудно было сделать это в такой стране, господствующее сословие которой воспитывалось в преданиях крепостного права, но двигательная сила экономического развития в конце-концов преодолела инерцию крепостнических интересов и преданий, сказал, что дворяне в 40-х гг. XIX века оказали победоносное пассивное сопротивление попытке Николая I кое в чем ограничить крепостное право. Но в то же самое время между дворянами появляются такие сельские хозяева, которые, вполне чуждаясь освободительных «утопий», житейским опытом и простым арифметическим расчетом убеждались в невыгодности крепостного труда. В 1845 г. министр Перовский говорил в записке, поданной им Николаю, что «образованные помещики» теперь уже «вовсе не боятся утраты своего достоинства от дарования людям свободы». По словам министра, «помещики сами начинают понимать, что крестьяне тяготят их, и что было бы желательно изменить эти обоюдо невыгодные отношения». При этом Перовский нисколько не обманывался насчет причины, вызвавшей такую перемену во взглядах помещиков. Он указывал на повысившиеся цены земли и на удачные опыты применения наемного сельскохозяйственного труда в Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и некоторых других губерниях. Еще более «обоюдо невыгодными» становились крепостнические «отношения» в торгово-промышленной области народного хозяйства. Необходимо было расстаться с «неволей», завещанной старой Московской Русью. Но, как замечал Перовский, даже «образованное» дворянство опасалось «последствий переворота, коих всякий благообразный человек, знающий народ, и его понятия и наклонности,

должен опасаться». Эти дворянские страхи еще надолго задержали бы дело уничтожения крепостного права, если бы не крымская катастрофа, доказавшая, по выражению Энгельса, что «Россия, даже с чисто военной точки зрения, нуждается в железных дорогах и крупной промышленности. Хотя наша высшая бюрократия была насквозь пропитана дворянским духом, неумолимая логика положения вынудила ее взяться за крестьянскую реформу. Меры, принятые правительством Александра II для так называемого освобождения крестьян, сами очень сильно отзывались Азией. Это их неподлежащее сомнению свойство долго ставилось ему в заслугу под названием будто бы беспримерного в истории Запада освобождения крестьян с землею. Я позволю себе объяснить эту его мнимую заслугу теми же словами, какими я объяснил ее в другой своей работе. «Крупнейший в мире помещик-рабовладелец, — государство, — решительно не мог помириться с тою мыслью, что освобождаемые крестьянские «души», с которыми он уже собирался распорядиться по-своему, сразу предстанут перед ним в виде многомиллионного пролетариата. С этой стороны его интересы разошлись с интересами остальных рабовладельцев, чем и объясняются те трения между тогдашними помещиками и «петербургскими чиновниками», которые некоторые добродушные люди до сих пор объясняют народолюбием известных слоев тогдашней бюрократии». По мнению крупнейшего в мире помещика-рабовладельца, чтобы освободить крестьян, надо было сделать их вполне независимыми от государства, уничтожив их крепостную зависимость по отношению к помещикам. Так он и поступил. «Освобожденный» им крестьянин остался совершенно бесправным перед лицом государства, которое позаботилось о том, чтобы сохранить старую, завещанную московским и петербургским крепостничеством, форму крестьянского землевладения: переделы полей в сельских общинах. Азиатский характер крестьянского «освобождения», неблагоприятный для дальнейшего промышленного развития России, еще более неблагоприятен был для самих крестьян. Не дав им хотя бы части тех гражданских прав, которые необходимы производителю в обществе, основанном на товарном производстве, наша «крестьянская реформа» заставила их гораздо чаще, чем прежде, выступать на товарном рынке отчасти в качестве продавцов продуктов своего несложного сельского хозяйства, а отчасти в качестве продавцов своей собственной рабочей силы. Понятно, как невыгодны для них были рыночные сделки, совершавшиеся при подобных условиях. «Освобожденное» крестьянство беднело, а его обеднение задерживало рост внутреннего рынка для предметов промышленности, что было значительным препятстви-

ем для быстрого развития русского капитализма. Но капитализм так или иначе справился и с этим препятствием. Он все-таки шел вперед, а с ним все-таки подвигалась вперед и европеизация России. Если Петр своей реформой «прорубил окно в Европу», то теперь для европейских влияний открылись широкие ворота.

Через эти ворота они стали проникать в те части населения, которые прежде оставались недоступными для них: сначала в торгово-промышленный класс, а потом и в крестьянство, — в той мере, в какой новые отношения производства разлагали старые экономические устои земледельческого быта. В среде торгово-промышленного класса довольно быстро подвигалось вперед давно уже начавшееся, но долго не порождавшее заметных социально-политических последствий подразделение на два новых класса: буржуазию и пролетариат. Чем быстрее подвигалось вперед это подразделение, тем больше европеизовалась Россия. И. С. Аксаков говорил, что, только «обезнародив народ», можно сделать его восприимчивым к передовым идеям Западной Европы. Развитие капиталистического способа производства совершило именно это чудо, представлявшееся совершенно невозможным славянофильскому публицисту: оно «обезнародило» значительную часть русского народа. Пресловутый «народный дух» не выдержал напора капитализма. Попадая в положение пролетария, русский производитель, хотя и продолжал в большинстве случаев числиться на бумаге крестьянином, начал понемногу выступать на тот самый путь, на котором его далеко опередили западноевропейские работники: на путь борьбы с капиталом. Эта борьба быстро развивала в нем новые, прежде неслыханные на Руси, настроения и стремления. А так как полицейское государство усердно отстаивало интересы капитала, то русский пролетарий быстро терял, один за другим, выносимые из деревень вековые политические предрассудки крестьянина. Правда, развитие капитализма постоянно толкало в ряды пролетариата новые и новые толпы «серой деревенщины». Этим замедлялся рост политического сознания русского рабочего класса. До недавнего времени даже в самых громких выступлениях его, — например, в выступлении 9 января 1905 г., — заметно это отрицательное психологическое влияние деревни. Нельзя закрывать глаза и на то, что отсталые слои рабочего класса принимали иногда участие в погромах евреев и передовой интеллигенции. Но если развитие капитализма не могло сразу «обезнародить» отсталые слои пролетариата, то, говоря вообще, класс этот очень быстро развивался в политическом смысле и составил собою одну из тех двух сил, сочетание которых вызвало взрыв 1905–06 гг.: силу революционную. Другою силою, участвовавшею в этом взрыве,

была, — сказал я, — сила крестьянского населения, добивавшегося «черного передела» согласно старым традициям аграрной политики российского государства, положенным между прочим и в основу наделения крестьян землею. Пока и поскольку эти две силы действовали в одном направлении, до тех пор и постольку побеждала революция. Но, разнородные по своей природе, они не могли долго действовать вместе: движение русской крестьянской Азии лишь на короткое время совпало с движением русской рабочей Европы. Когда они перестали действовать вместе, стала торжествовать реакция, т. е. стало побеждать дворянство, защищавшее свои «недвижимые имущества». В этом все дело.

Одной из первых реформ, совершенных той дворянской контрреволюцией, которая восторжествовала благодаря слишком еще недостаточной европеизации крестьянства предыдущим ходом экономического развития, было законодательное уничтожение поземельной общины. Дворянство рассчитывало, что, уничтожив поземельную общину, оно убьет ту старую аграрную традицию, во имя которой крестьянство считало себя вправе экспроприировать помещиков. И, разумеется, оно рано или поздно убьет ее. Но вместе с тем оно убьет все старое крестьянское мирозерцание, окончательно разрушив ту экономическую основу, на которой столько веков держался наш старый политической порядок. Это вряд ли будет согласно с интересами дворянства, но наверно будет вполне согласно с интересами пролетариата, поступательное движение которого задерживалось и задерживается политической инертностью старого крестьянина. Как бы там ни было, этот шаг дворянской контрреволюции есть шаг в сторону европеизации наших общественно-экономических отношений, хотя, разумеется, оплаченный народом несравненно дороже, чем пришлось бы заплатить за него при других политических условиях.

Глава XXV

Новые культурные явления и новые политические стремления как следствие новых общественно-экономических отношений

«Обезнародив» часть трудящегося населения России, капитализм впервые обеспечил прочную общественную поддержку передовым стремлениям, проникавшим с Запада в Россию. Только с этих пор идеологи названных стремлений перестали быть «умными ненужностями» и «лишними людьми». Только с этих пор их, заимствованные у Запада, идеалы получили шансы на осуществление в России.

Я уже сказал, что новая культура, после Петровской реформы проникшая с Запада в Россию, долго имела дворянский отпечаток.

Это особенно заметно в том, что составляло лучший плод этой культуры: в литературе. Хотя уже почти на первых порах крестьянство дало ей такого чрезвычайно выдающегося деятеля, как Ломоносов, однако, в течение долгого времени наши литераторы вербовались главным образом из среды дворянства. В живописи это было не совсем так, но и живопись долго обслуживала эстетические потребности дворянства и считалась главным образом с его вкусами. Однако, консервативная часть дворянства была слишком мало просвещена для того, чтобы интересоваться литературой и искусством; к тому же она мало имела практической нужды в литературе (живопись, во всяком случае, могла понадобиться для портретов), так как ее главные сословные нужды достаточно удовлетворялись посредством «*action directe*», исходившей из среды высшей бюрократии и из гвардейской казармы. Передовая же часть дворянства начинала выражать свои стремления в русской литературе в такое время, когда на Западе уже завязывалась освободительная борьба третьего сословия со светской и духовной аристократией. Это не могло не отразиться на характере стремлений передового дворянства. Продолжая быть, в известных отношениях, «барами» до конца ногтей, молодые дворянские идеологи становились в отрицательное отношение к наиболее грубым проявлениям дворянского сословного эгоизма. Так, уже в XVIII в. они резко нападали на злоупотребления крепостным правом, а некоторые из них заговорили и о полном его уничтожении. Скажу больше. Вышедшие из дворянской среды передовые люди выставляли иногда такие социально-политические требования, осуществление которых означало бы полную отмену привилегий благородного сословия и проложило бы дорогу для широкого развития буржуазии и в экономической жизни, и в политике. Достаточно напомнить декабристов. В тридцатых годах XIX в. некоторые идеологи дворянского происхождения переходят даже на точку зрения трудящейся массы, поскольку такая точка зрения свойственна тогдашнему утопическому социализму: А. И. Герцен, Н. П. Огарев и их кружок. Нечего и говорить, что подобные стремления отнюдь не могли увлечь дворянское сословие. Чем дальше вперед устремлялась тонкая струйка европеизованной дворянской мысли, тем тоньше она становилась и тем мучительнее сознавали передовые европеизованные дворяне свое практическое бессилие. «Наше состояние безвыходно, потому что ложно, — писал А. И. Герцен в своем дневнике, — потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело — отчаянное страдание».

Как в литературе, так и в искусстве дворянская гегемония сменилась в половине XIX в. гегемонией разночинцев. Разночин-

цы входили, разумеется, в состав нашего «третьего сословия», но принадлежали к его демократическому крылу. Влиятельная, в экономическом смысле, часть этого сословия долго не оказывала прямого воздействия на развитие нашей литературы и нашего искусства. Первоначально она, по указанной выше причине, не поддавалась европеизации, а когда причина эта мало-по-малу перестала действовать, наша буржуазия долго не чувствовала нужды в печатном выражении своих требований, ограничиваясь непосредственными сделками с правительством, у которого она не переставала выпрашивать «субсидий», «гарантий» и покровительства «отечественной промышленности». Замечу мимоходом, что такое ее поведение составляет еще одну из относительных особенностей нашего исторического процесса сравнительно с историческим процессом крайнего европейского Запада: там буржуазия сыграла гораздо более революционную роль.

Когда дворянский период литературы, искусства и общественной мысли сменился у нас разночинским периодом, вошло в обычай насмехаться над «лишними людьми» недавнего прошлого. Передовые разночинцы были твердо убеждены, что им не суждено выступать в этой печальной роли. Однако, хотя и они были гораздо многочисленнее передовых дворян, они, в свою очередь, были ничтожны как общественная сила. «Охранители» легко подавляли все их практические попытки борьбы до тех пор, пока на историческую сцену не выступил новый борец в лице пролетариата. С появлением этого борца дело изменилось, во-первых, в том отношении, что теперь уже смешно было спорить о том, должна или не должна Россия идти по пути западно-европейского развития: ясно было, что не только должна идти, но уже идет, потому что капитализм становится в ней господствующим способом производства; во-вторых, стало очевидно, что «мы» вовсе не «вне народных потребностей», как с отчаянием восклицал некогда Герцен, и что экономическая европеизация России должна сопровождаться ее политической европеизацией. А это открывало такие широкие и отрадные перспективы перед русской разночинной интеллигенцией, что на некоторое время она вообразила себя готовой целиком перейти на точку зрения пролетариата. Все мало-мальски передовые люди объявили себя марксистами.

Но рядом с пролетариатом на исторической сцене России все-таки стояла буржуазия, тогда уже достаточно европеизованная в своих наиболее развитых слоях. Ее историческое воспитание в атмосфере всяких субсидий, гарантий и покровительств не выработало в ней боевого темперамента. Однако, она не чужда была политического недовольства, и мало-по-малу у нее явилась потреб-

ность в соответствующем ее оппозиционному настроению духовном оружии. За приготовление такого оружия, за идеологическую европеизацию нашей передовой буржуазии, взялись представители того же слоя разночинцев, который уже несколько десятков лет шел во главе нашего умственного движения. В его среде почти тотчас же после сплошного увлечения Марксом родилось новое увлечение: увлечение «критикой» Маркса.

Критика эта представляла собою у нас попытку приспособить к умственным нуждам передовой русской буржуазии такую общественную теорию, которая выражала собою стремления сознательного западноевропейского пролетариата. Подобная попытка могла явиться только в такое время, когда буржуазные общественные теории Запада обнаружили свою несостоятельность. Задача, которую задавали себе люди, делавшие такую попытку, была теоретически нелепа и потому неразрешима. А так как она была неразрешима, то очень скоро «критика Маркса» сделалась просто «критикою», а просто «критика» свелась к разогреванию и переделке на новый лад старых буржуазных теорий. Делом такого разогревания сплошь да рядом занимаются теперь писатели, еще не так давно вполне искренно считавшие себя марксистами.

Таким образом, за дворянским и разночинским периодом истории русской общественной мысли последовал новый, и теперь еще продолжающийся, период, в котором уже гораздо менее заметна идейная гегемония какого-нибудь одного общественного класса или слоя. Теперь нет господствующих умственных течений, теперь умственные силы распределяются главным образом между двумя полюсами: полюсом пролетариата, с одной стороны, и полюсом буржуазии — с другой. Кроме того, выступают еще теоретики прежней школы, не желающие расстаться с дорогой для них верой в старые «устои» народно-экономической жизни. Но по мере того, как подвигается вперед европеизация России, теоретические позиции этих носителей старых «заветов» становятся все более и более шаткими, а сами носители обнаруживают все больше и больше растерянности. Дни их сочтены. Вся последующая история нашей общественной мысли определится взаимными классовыми отношениями пролетариата с буржуазией. В ходе развития этих отношений на «восточной равнине» Европы опять будут, конечно, свои относительные особенности, которые вызовут относительные особенности духовного развития. Бесполезно гадать теперь как о тех, так и о других. Но не бесполезно отметить то, что уже может быть предметом наблюдения.

Мы видели, что пока русское общественное бытие оставалось непонятным с точки зрения западных социально-политических

учений, исторический идеализм был единственно возможным убежищем для свободомыслящих русских людей, не желавших примириться с «гнусной расcейской действительностью». Когда успехи капитализма «обезнародили» русский народ до такой степени, что уже неудобно стадо толковать о самобытных путях нашего общественного развития, акции исторического идеализма страшно упали в цене. Тогда явился сильнейший спрос на исторический материализм, потому что только с его помощью можно было сделать удовлетворительный анализ как западно-европейского, так и русского общественного бытия. Но точка зрения исторического материализма была точкой зрения теоретиков пролетариата. Выводы, к которым приводил анализ русского общественного бытия с помощью исторического материализма, были неприемлемы для идеологов нашей европеизованной буржуазии. Поэтому исторический материализм пользовался у нас широкой популярностью только до тех пор, пока продолжалась борьба с совершенно устаревшими теориями народничества и субъективизма. Тотчас же после ниспровержения этих теорий началась «критика Маркса», означавшая между прочим также и отступление от исторического материализма «назад», к более или менее переделанному на новый лад историческому идеализму. Это отступление прикрывалось атакой на позиции того, что было названо философским материализмом и что в действительности составляет теоретико-познавательную основу материалистического объяснения истории. Уже в последние годы XIX века идеологи нашей европеизованной буржуазии провозгласили философский материализм совершенно мертвым учением. Интересно, что им поверили в этом случае даже некоторые писатели, примыкавшие к пролетарскому лагерю, и еще более интересно, что эти идеологи пролетариата, поверившие на-слово идеологам буржуазии, показали себя неисправимыми утопистами в тактических вопросах.

Говорил или не говорил Петр, что Россия со временем должна будет повернуться «задом к Европе», — ясно, что в настоящее время она уже совершенно лишена всякой возможности поступить так. Это тем более ясно, что даже самые типичные из стран Востока движутся теперь к Западу. Между ними есть такие, которые как будто грозят обогнать Россию в процессе этого движения. Китай сделала республикой, тогда как в России еще не утвердился парламентский режим. Это объясняется одной из самых невыгодных для нас относительных особенностей нашего исторического процесса: русское полицейское государство было достаточно европеизовано для того, чтобы пользоваться в своей борьбе с новаторами почти всеми завоеваниями европейской техники, между тем как наши

новаторы только с недавнего времени стали опираться на народную массу, которая, как мы видели, европеизована только в лице одной своей, — пролетарской, — части. Россия платится за то, что она слишком европеизована сравнительно с Азией и недостаточно европеизована сравнительно с Европой.

